

ЭРА АРХИТЕКТОРОВ

демо-версия

Научно-фантастический роман

Книга вторая серии «Нейронная Космология»

Михаил Савченко

Часть I

После инициации

Глава 1

Крыльцо

Из дневника Лии Рейновой. 14 октября 2033 года. (Крупные буквы, шариковая ручка, одна запись на разворот.)

Папа сегодня грустный. Он ещё не приехал, но грустный. Бабушка ему звонит изнутри. Телефона нет — есть кнопка у него внутри, и бабушка её нажала. Жёлтая ниточка, тонкая, от его рубашки вверх. Он её не видит. Я вижу.

Мама сказала: Лия, не говори папе про ниточки. Я спросила почему. Мама сказала: потому что ему от этого грустнее. Я подумала. Решила: хорошо. Но в дневник — можно. Дневник — это моё.

Шрёдингер Младший ловил муху. Не поймал. У мухи — серебряная пыль сзади, как шлейф. Шрёдингер пыль не видит. Это странно, потому что коты обычно видят всё. Наверное, котам тоже что-то не даётся. Мама говорит — это нормально. Никто не видит всё.

В садике сегодня мальчик заплакал. Я спросила почему. Он сказал — потому что вторник. Я подумала. Решила: это хорошая причина. Во вторник всё трудно. В среду — легче.

Бабушка сегодня тоже придет. Она хорошая. Только она смотрит на папу как на соседа. Папа смотрит на неё как на маму. Это не встречается посередине. Посередине — я. Я их встреча.

Папа едет. Сейчас у Красногорска. Я его чувствую, как Шрёдингер чувствует, что откроют банку. Это знание. Не голод, голод — потом. Сначала — знание. Пришло — значит будет.

* * *

Я возвращался из Академии и впервые за год не мог вспомнить, о чём думал. Это, вообще говоря, нехорошо. Мозг физика тридцати пяти лет обязан работать как тикер биржи в Токио: бегущая строка внизу экрана, непрерывно, на трёх языках, с отсылкой к вчерашнему закрытию. Если тикер молчит — либо у вас серверный сбой, либо вы умерли. Третьего варианта в профессии не существует.

Ну или существует, но он означает, что я смотрю не туда.

(«Возвращался» — в этом слове теперь пряталась почти вся моя жизнь. Семь лет назад я из Академии ушёл — обратно в институт, к Лене, к кубитам. Обещал себе: всё, хватит, завязываю. Четырёх месяцев хватило. Потом позвонил Вэй Лин. Он сказал: «У нас нет для вас работы. Но у мира — есть. Между нами и ими нужен кто-то, кто живёт в обоих одновременно». Должность, которой до меня не было, назвали просто: *мостовой*. Ни куратор, ни ученик, нечто среднее, в Академии таких больше нет. Человек, который два раза в месяц ездит в Академию, а потом возвращается в институт и при вопросе «что случилось» уверенно говорит про сгоревший предохранитель. Про то, что он четыре дня назад видел на четвёртом этаже стека, — никому.

Официально, в налоговой декларации, я значусь как «консультант по нестандартным состояниям, код ОКВЭД 74.90.9». Этот код ОКВЭД в справочнике обозначает «прочую профессиональную, научную и техническую деятельность, не включённую в другие группировки». Буквально: «не знаем, что это, но они за это платят, и пусть платят, а вы подпишите вот здесь». Российское государство, в отличие от американского, не любит, когда налоговая категория описана точнее, чем деятельность под ней. Точность — вещь внутренне политическая, и у нас её придерживают на случай, если завтра кого-нибудь нужно будет посадить.)

Обычно в это «возвращался» входил длинный список: куда, откуда, зачем, с кем, на какой машине, с какими ощущениями после прохождения двери. Сегодня вошло только: *я ехал домой*. Всё.

Я ехал домой. «Домой» — это в последние пару лет стало скорее направлением, чем местом, но МКАД об этом не знал и честно вёл меня по кольцу. В колонках играла группа, которую я не ставил. У «Яндекс.Музыки» последний год появилась новая привычка: она ставит то, что вы ещё не попросили. Официальная версия — обновился рекомендательный алгоритм, персонализация, нейросеть седьмого поколения, всё на свете. Неофициальная (и более честная) версия — рекомендательный алгоритм приблизительно в 2028 году начал *подтекать* с шестого этажа. То есть он теперь ловит не ваш плейлист. Он ловит ваше ближайшее внутреннее состояние. Играет оно. Яндекс за это платит реклама; мне за это не платит никто.

(Справедливости ради: на «Яндекс.Музыке» есть галочка «отключить персонализированный подбор». Она не работает. Я её ставил раз, другой, третий, на четвёртый — написал в поддержку. Поддержка ответила: «галочка работает корректно, проблем с вашим аккаунтом не обнаружено». Переводя с поддерживающего на человеческий: «нам самим непонятно, но мы не признаемся». Эта фраза, к слову, — национальный слоган русской технической поддержки, негласный, но каждый сталкивавшийся узнаёт.)

Сейчас играла *Angine de Poitrine* — французский дуэт (название в переводе —

«грудная жаба»; сами они его на обложку выносят только по-французски, чтобы слушатель не начинал с ассоциаций на кардиологию). Играют они микротональный мат-рок: размер такта меняется внутри одной фразы — семь четвертей, потом одиннадцать, потом микротональная петля, сдвинутая на четверть тона. Гитары у обоих двухгрифовые: верхний гриф в стандартных двенадцати полутонах, нижний — в двадцати четырёх. Играть сразу на двух физически неудобно, у этих двоих выходит; другой гитары в студии у них нет и, судя по интервью, быть не может. На сцене — в чёрных гладких масках (что-то среднее между средневековым чумным врачом и сварщиком с советской стройки) и в комбинезонах в чёрно-белый горошек. Имен у них нет. Себя они зовут *Khñ* и *Klek* — два плотных согласных удара, без претензии на смысл, зато удобно выкрикнуть из толпы. Самоидентификация: «*Orchestre Rock Microtonal Dada-pythago-cubiste*». Обычно я их слушаю вечером, на кухне, когда Кира уже легла, а Лия ещё не встала. Днём — нет. Сегодня они играли в четыре дня, в машине, на МКАД, под дождём. Это был диагноз: *Яндекс* знал про меня больше, чем я сам, и признавать это удобнее через музыку, чем через галочку в настройках.

В этом виде их музыка работала странно. Это было как *подслушивать* что-то, что мне не предназначено: кто-то свистит в закрытой комнате в соседнем подъезде, и я слышу это через стену — без адресата, без сценической позы, без желания быть услышанным. Микротональный сдвиг на четверть тона каждый круг делает эту иллюзию идеальной: ухо за привычные двенадцать полутонов не цепляется, и слух принимает звук за *свист из соседней квартиры*, случайно имеющий форму. Их музыка — *чужое внимание, переложенное в звук*. Сочинить такое нельзя; можно только поймать и усилить. Я их узнавал без *Shazam*. Я их теперь узнаю везде.

* * *

Подпись моей матери у меня в груди последние два года включается всё чаще. Это техническое явление, у которого есть паспорт, срок гарантии и документированная причина. Семь лет назад моя мать *отдала* свою субъектную подпись в якорь прохода, который нельзя было закрыть обычным способом. Часть её подписи отныне живёт в двери, часть — в Ирэн, которая в новом теле существует в Костроме и работает библиотекарем, часть — по распределённой сетке в пространстве, которую я ногами не считал.

А ещё одна часть — во мне. Потому что я её сын. Она оставила её двадцать восемь лет назад, когда мне было семь. Эту часть у меня вытащить технически невозможно: она приварилась насмерть. Ирэн сейчас — это её *тело* и её *отданное*. А то, что от мамы осталось *во мне* — это только во мне, и это как бы не она

уже, и как бы она. Такое состояние описывается в Академии фразой: «*подпись живёт в двух конфигурациях одновременно, и обе легитимны*». В переводе на русский: она есть, её нет, и оба ответа правильные.

(Попробуйте жить с матерью в двух конфигурациях одновременно. Рекомендую. Очень дисциплинирует.)

Последние два года конкретно эта часть начала *звонить*. В груди, в диафрагме, в том участке нервной системы, который раньше отвечал за «кажется, я что-то забыл на плите». Включается секунд на сорок, потом затихает. По ощущению — тонкая жёлтая нитка от грудины кверху. Вэй Лин сказал мне об этом пять лет назад, в три слова: «Это её способ напомнить». Восемь лет Вэй Лин объяснял мне что угодно, кроме этого. На восьмом году кивок сменился фразой — и фраза тоже была кивком, просто со словами.

(Я, кстати, теперь различаю фразы-кивки. Профдеформация мостового: восемь лет рядом с человеком, который экономит слова, и ты начинаешь слышать, какая реплика — предложение, а какая — кивок, оформленный гласными и согласными. У Вэй Лина девяносто процентов речи — кивки. Остальные десять процентов он хранит для моментов, которые я пока не пережил. Эти десять процентов он выпускает по одному, по чайной ложке в год. На сегодняшний день я получил восемь ложек. Остаётся, я подозреваю, ещё четыре-пять. Потом мы закончим.

Отдельно: у Вэй Лина *Нокия 3310*. Обычная. Чёрная. Без интернета. Только звонки и СМС. Кнопки в нужных местах, «змейка» встроена, заряд держит неделю, заряжает он её раз в восемь дней, по расписанию. Он носит этот телефон в кармане куртки с две тысячи двадцатого года. Смартфон, который ему подарили на пятисотлетие, лежит в шкафу у Ольги. Смартфон, который ему подарили на семьсотлетие, лежит рядом, нераспакованный.

Это не чужачество. Это — его позиция и позиция всей Академии: «*если мы заводим сеть, мы становимся сетью; если мы остаёмся на людях, мы остаёмся людьми*». У Академии нет публичного сайта. Поисковая выдача по «русская академия сознания» — несколько мёртвых форумных постов две тысячи девятнадцатого года и одна статья на *Медузе*, которую в две тысячи тридцать третьем напишет Лена, — но мы это обсудим позже. На территории Академии нет Wi-Fi. Сотовая связь работает местами, через ретрансляторы, которые Ольга поставила в две тысячи двадцать девятом и тогда же пригрозила убрать, если кто-нибудь поставит в столовой Zoom-комнату. Связь Академии с миром — через живых *мостовых*, то есть через меня и ещё двоих: Олю (внучку Ольги) и Ваню (дипломника, уехавшего в США с тайным поручением, о котором я ещё ничего не знаю).

Когда Вэй Лин кому-нибудь звонит с этой Нокии 3310, на экране у принимающей стороны высвечивается номер, начинающийся на +7 4852. Кострома. Он

в Костроме никогда не был. Почему номер Костромской — неизвестно. Кажется, что телефонная инфраструктура Академии тоже *немного подсасывается* с четвёртого этажа, как мои кубиты и GPS соседей.)

Так вот. Сегодня мама звонила примерно с десяти утра, то есть четыре часа подряд. Держала трубку без перерыва. Это было ново. Обычно звонила вспышками по сорок секунд, с перерывами по три дня. Сейчас — как будто подняла трубку и ждала.

Я ждал обратно. Мостовой с той стороны моста никогда не идёт первым: он *мост*, а мосты стоят. Если мост сам начинает ходить — это уже третья башня с двумя ногами, на которую не рассчитана нагрузка.

* * *

С дорогой в Москву семь лет назад — после открытия двери — произошло то, чего не ожидал никто, включая ГИБДД.

Во-первых, в Москве примерно в 2028 году начали *пропадать* пробки. Именно пропадать: были — и *испарялись*, без остатка, без последствий, без жертв со стороны движения. То есть по данным «Яндекс.Карт» в 18:30 на Третьем кольце должно стоять в одиннадцать баллов из десяти, — а вы выезжаете и видите четыре балла. Ничего не случилось, никто никого не пустил. Поехало. Этому до сих пор нет официального объяснения. Существует версия (её публикуют, обычно, в третьесортных изданиях, которые любят слово «квантовый» в заголовке), что москвичи стали *согласованнее* выбирать маршруты. Это, на самом деле, правда: коллективный каузальный слой у большого города существует, и если туда просачивается информация — пробки рассасываются. Я молчу про это в чатиках, потому что в чатиках мне за это ставят дурацкий эмодзи.

Во-вторых, GPS в определённых районах Москвы теперь *врёт стабильно*. Гагаринский кольцевой туннель — врёт на полтора километра. Парк Победы — на триста метров. Район Арбата — на двенадцать метров в любую сторону, но всегда в ту сторону, в которую вы как раз *не хотите* повернуть. В Академии по этому поводу давно защищена дипломная работа (автор — девятнадцатилетний Ваня, я был рецензентом). Вывод работы: «рендер-слой в Москве подсасывается с четвёртого этажа там, где исторически была плотная каузальная тень». Диплом получил отлично. Москва ответила диплому новой вращающейся зоной на Павелецкой.

В-третьих, на Ютубе появилась категория «*пробудители*». Формат: один мужик в сером свитере, иногда женщина в красных очках, курс за сто девятнадцать тысяч рублей, «открываем у вас внутреннего Архитектора за четыре недели». (Слово *Архитектор* теперь тоже приватизировано маркетингом. Семь лет назад я ещё успевал подшучивать над «квантовым сознанием». К 2033 году слова утекли быстрее, чем я успевал за ними.) Самый популярный канал — «Я у себя Бог»

(два миллиона триста тысяч подписчиков, автор — некто Глеб Аристов, предположительно бывший менеджер Магнита; точно я не проверял). Глеб объясняет зрителю, что реальность — компьютерная игра и что он, Глеб, за сто девятнадцать тысяч даст зрителю чит-коды.

Глеб действительно выдаёт зрителю чит-коды. Они даже иногда срабатывают — на одну-две недели, пока зритель не обнаруживает, что у игры *нет уровней*, и что каждый чит-код ничего не даёт, кроме мимолётного щекотания шестого этажа, который, собственно, и сам рад пощекотаться, без денег.

Это, с одной стороны, смешно. С другой — грустно. С третьей (с той, которой занимается Академия и которой занимаюсь я в своей должности «мостового») — опасно. Потому что реальные пробуждения *без поддержки* выглядят как обострения шизоаффективного расстройства. А выглядят они так потому, что *и являются*, пока никто не объяснил человеку, что с ним происходит. Пациент попадает в структурно более глубокий слой стека без скафандра. Без скафандра в этом слое задыхаются. И задохнётся он по вине того, кто его туда затащил чат-ботом «Бог-бот Pro» за сто девятнадцать тысяч.

(Я один раз попросил у Вэй Лина разрешения написать Глебу Аристову письмо. Вежливое, но твёрдое. Вэй Лин посмотрел на меня внимательно, молча. И тихо сказал: «Глеб — часть фильтра». И всё, больше я не просил. *Фильтр* — это у нас в Академии термин для таких людей, которые своим существованием отфильтровывают неготовых. Если вы заплатили Глебу Аристову сто девятнадцать тысяч и не возмутились — вам пока не в Академию. Вам пока в Глеба Аристова. Жёстко, но работает: Академия не успевает обслуживать всех, кто стучится. Глеб отвлекает тех, кого пока не нужно в Академии. С точки зрения системы это — *встроенный антиспам*. С точки зрения этики — сложнее. С точки зрения меня, едущего по МКАД с мамой, включённой в грудной клетке, — мне сейчас неважно.)

* * *

Ещё одна вещь, про которую стоит сказать, раз уж мы заехали так далеко в описание моего 2033 года.

В этом году в России появилась новая государственная структура. Она называется *Институт Пробуждения Населения, ФГБУ* (федеральное государственное бюджетное учреждение; номер в реестре — 6732; главный офис — на Тверской, 17, бывшее здание какого-то общества любителей книги, которое в 2022 году тихо закрыли за ненадобностью).

Институт Пробуждения возглавляет Артём Валь. Тот самый Артём из первой школы, который семь лет назад выбрал Ордо из-за рядового Миши в Калуге и

который за прошедшие восемь лет превратил этот выбор в инфраструктуру государственного масштаба. Я его лично не видел с две тысячи двадцать восьмого года. Мы разошлись по разные стороны тихо, без обид. Иногда я вижу его на экране — в сером костюме, без галстука, с короткой стрижкой. Он говорит в кадр спокойно и медленно, и от его речи по-прежнему веет дорогой, на которой нет фугаса.

Главная публичная задача Института — «разработать и внедрить протоколы корректной интеграции лиц с расширенным восприятием в общественную жизнь». Переводя с бюрократического: *найти способ, чтобы пробуждённые не сошли с ума и не расшатали страну*. Задача, в общем, разумная. Методы — те, которые пугают меня больше всего: перепись, категория инвалидности IV-Э (четвёртая, энцефалическая), диспансеризация, учёт, регулируемая выдача «лицензии на расширенное восприятие», и самое сочное — оракул «**Архитектор-1**».

(Архитектор-1 — это центральный экспонат Ордо в действии. Официально — «автоматизированная система поддержки лиц с расширенным восприятием», код в перечне ФГБУ АПС-РВ/01. Фактически — LLM седьмого поколения, дообученная на внутренних протоколах Академии, которые в две тысячи тридцать первом году *выпали* у Ордо в руки. Вэй Лин по поводу слова *выпали* один раз в разговоре со мной усмехнулся: «Да. Прямо из ящика». Никто не уточнял, из чьего ящика.

Архитектор-1 живёт в Госуслугах, раздел «Духовное здоровье», подраздел «Расширенное восприятие», добавлен четырнадцатого июня две тысячи тридцать второго. А ещё — отдельным приложением в магазине приложений и Плей Маркете, «Архитектор Pro», четыре звезды, сто пятнадцать тысяч скачиваний. В терминалах МФЦ стоит с февраля. Я его лично не проходил, потому что Академия требует от мостовых не светиться в Росподписи. А вот Костя из соседнего отдела прошёл. Получил категорию «*чувствительность-А, без лицензирования*», что означает: «тебя держим в базе, но пока не трогаем, спасибо за честный ответ на пятый вопрос».

Лицензия на расширенное восприятие — вот, что такое 2033 год, если описать его одной вещью. Мама. Представьте, что я вам даю бумажку, на которой написано: «*Рейнов Даниил Сергеевич имеет право видеть швы реальности на территории Российской Федерации*». Подпись: Валь А.А. Печать круглая, синяя. Срок действия — три года. При утере — пятнадцать тысяч рублей на восстановление. Это не антиутопия. Это уже есть. Лицензии у меня нет — Академия встроиться в реестр отказывается принципиально. Но у первого курса студентов Института Пробуждения — есть, выданы в мае. Они теперь легально видят швы. По пятнадцать минут в неделю. В специально оборудованных помещениях.)

Отдельное удовольствие — *приказ Минздрава № ПП-23*. Я его выучил наизусть,

пока стоял в очереди в МФЦ летом. Там есть пункт, который я могу процитировать с любого места, разбуди меня ночью:

«При установлении у гражданина признаков расширенного восприятия категории ЗА-2 гражданин направляется в региональный центр субсидиарной ответственности для прохождения процедуры верификации инварианта. В случае выявления несоответствия инварианта базовому шаблону категории, гражданин переклассифицируется согласно § 3.4 с автоматическим пересчётом субсидиарной ответственности за предыдущие 36 месяцев».

(Я эти строчки на память держу как талисман. Они — чистый сорт безумия, оформленного министерской типографикой. Где-то в параллельной вселенной ровно такие же строчки в две тысячи четырнадцатом году писали про автолюбителей, в две тысячи девятнадцатом — про иностранных агентов, в две тысячи двадцать шестом — про людей с обострённым слухом. Русская бюрократическая машина *не умеет сомневаться в собственном тексте*: если она уже написала «инвариант» в постановлении, значит, инвариант существует и подлежит верификации. **Это — и есть русский Random Code Programming**: подставь любое слово, и оно станет административным термином через две недели.)

Это — *Ордо в действии*. Монолит с человеческим лицом, на Тверской, 17. Артём честный. Артём лично верит, что так лучше, потому что помнит Мишу. И, возможно, он прав: если *не он* — то в эту же нишу пришли бы другие, и те уже без тормозов. Лучше железная рука Артёма, чем мокрая рука неизвестного — так он думает. Скорее всего, так и есть. Поэтому я с ним спорю только про себя. А в чужих чатиках, где Артёма поливают интеллигентские журналисты, я обычно молчу. Молчание в моей профессии — это экономия дыхания.

* * *

Я съехал с МКАД на Шаболовку.

Шаболовка за семь лет изменилась мало. Шаболовка в этом смысле — геологическая константа: когда рухнет всё, Шаболовка останется. Та же Шуховская башня (под охраной, облупленная, с табличкой «исторический памятник», с плановой реставрацией, которая стоит на бюджете уже двадцать лет и не двигается). Тот же троллейбус №15, который перестали пускать в 2021-м и по которому тем не менее до сих пор тоскует каждая пятая бабушка в районе. Тот же дом с моей однушкой, в которую я в 2026-м возвращался каждую пятницу, и в которую я теперь возвращаюсь каждый день, потому что два года назад туда переехала Кира с Лией, а кружку с отбитой ручкой я перевёз в шкафчик над раковиной в знак исторической преемственности.

(Строго говоря, кружка с отбитой ручкой — это теперь семейная реликвия. У нас её никто не трогает. Кира пьёт из своей. Лия — из чашки с зайцем. Шрёдингер

Младший пьёт из моей лужи, но он мостовой по статусу, ему можно.)

Лифт работал.

Я посмотрел на лифт так, как инженер смотрит на подозрительно работающий реактор. Работающий лифт в московской девятиэтажке 1974 года постройки — это, по моим многолетним наблюдениям, плохая примета. Примерно такая же, как если бы ваш утренний кофе оказался вкусный. Если всё работает — это значит, что что-то *компенсирует*. В нашей девятиэтажке исторически компенсировать было нечем, поэтому лифт и не работал. Механически он был полностью исправен. Ему просто *не хотелось*, и по-советски это считалось уважительной причиной.

Сейчас лифт работал. Хорошая, плавная, почти швейцарская работа. Я вошёл, нажал четвёртый этаж. Лифт хрюкнул и поехал. Я стоял и ждал, когда он остановится между этажами и скажет мне что-нибудь важное. Он не сказал. Остановился на четвёртом. Дверь открылась. Я вышел.

(Мне кажется, я к этому моменту перестал быть полноценным горожанином. Полноценный горожанин едет в лифте, играет в телефон и не ждёт, что лифт с ним заговорит. Я каждый раз жду. Это симптом профессиональный. Симптом называется *перерасход внимания в сторону неодушевлённого*. Против лекарств нет. Выход — либо уволиться из мостовых, либо смириться.)

* * *

На пороге сидела Лия.

На самом пороге распахнутой настезь двери, скрестив ноги, в пижаме с ракетами, с блокнотом на коленях. Шрёдингер Младший лежал на её ногах. Оба смотрели на дверь изнутри. То есть она открыла дверь, села на пороге и ждала.

— Ты рано, — сказала она. — Я думала, ты будешь через семнадцать минут.

— Я ехал быстрее, чем обычно.

— Да. Потому что бабушка. Я тоже почувствовала.

Она сказала это так, как другие дети говорят «я съела яблоко». Деловой отчёт. Без драмы.

(Здесь нужно объяснить одну вещь про Лию, чтобы сэкономить читателю недоумение. Моя дочь читает с трёх лет. Не по слогам. Целыми предложениями, с интонацией, включая иностранные слова, которых не было в её окружении. Мы с Кирой проверили (мы учёные, мы всё проверяем; ребёнок, который читает — это прекрасно и подозрительно одновременно, примерно как кубит, ведущий себя безусловно): книги, которых не было дома, — читает. Книги, которые только что привезли, — читает быстрее нас. В прошлом году Лия в гостях у одной из моих бывших научных руководительниц открыла том *Principia Mathematica* на англий-

ском и сказала: «Это как моя книжка про зайцев, только сложнее и без зайцев». Бывшая руководительница молчала три минуты.

Мы с Кирой пришли к соглашению: мы не ускоряем Лию и не тормозим её. Мы её сопровождаем. У нас нет методички «как воспитать первого природно-рождённого Архитектора» — такой методички в мире не существует, потому что до Лии не было других природных Архитекторов, и все Архитекторы, которых мы лично знаем, воспитывались как-то ужасно. Мы, в общем, делаем так: Лию уважаем, не боготворим, сажаем за стол есть ужин вовремя, заставляем убирать игрушки, и если она рассказывает нам, что видит у соседа «серую ниточку с узелком», мы говорим: *ок, спасибо, пойдём чистить зубы.*

Это, насколько я понимаю, и есть *родительство*. Смысл его — чтобы ребёнок чистил зубы. Всё остальное — побочные эффекты.)

Я сел рядом. На пороге. В куртке. Кира была где-то в глубине квартиры, нарочно — она знала, что у нас с Лией своя первая минута, и что обычай нарушать нельзя, потому что Кира очень уважает ритуалы, почти как пожилые китайцы уважают чайную церемонию. У нас с Лией такой: первую минуту после моего возвращения никто не говорит ни о чём важном. Обычно мы просто сидим, и Шрёдингер Младший переключается с её ног на мои.

Сегодня кот не переключался.

Сегодня он смотрел на что-то за моей спиной.

— Что там? — спросил я, не оборачиваясь.

— Ниточка, — сказала Лия. — Жёлтая. Идёт из тебя вверх.

Пауза.

Я закрыл глаза. Открыл. Посмотрел на дочь — семь лет, тёмные волосы (Кира после рерайта, стало быть, *гены*), блокнот с ракетами, серьёзные глаза. И понял две вещи одновременно.

Первая: моя дочь видит подпись моей матери — напрямую, без посредников, как обычные дети видят цвет стен.

Вторая: она мне об этом *сказала*. Спокойно. Как о погоде за окном.

Ей семь. Столько же было мне, когда я сказал отцу про маму. Отец не понял.

(Отец *не понял* — не в смысле «не услышал». В смысле — услышал и не дал слов разрешения существовать. Двадцать один год это сидело во мне как мерзлота: слова про маму можно говорить, но нельзя, чтобы их *слышали*. Говорят — в пустоту. Слышит — никто. Это был наш с отцом контракт до две тысячи двадцать шестого года; в том ноябре он расторгся двумя словами — отец тогда сказал «я *знаю*», и это был финальный расчёт. Сейчас у меня в квартире — дочь, которой семь, и которая собирается вести со мной другой контракт.

Этого контракта я ещё не знаю. Я стою на его пороге. Буквально.)

Я обернулся к дочери. Шрёдингер Младший всё ещё смотрел за меня.

— Лия.

— Да.

— Ты когда-нибудь спрашивала маму про это? Про ниточки?

— Спрашивала. Мама сказала, тебе не рассказывать.

— Почему?

Она подумала. Серьёзно, как семилетние думают — сморщив лоб, высунув чуть-чуть язык, приподняв левую бровь. Это её пауза «я сейчас решу, как объяснить». Она унаследована от Киры. Кира делает то же самое, только бровь поднимает правую. Это, на всякий случай, наш домашний спор десятилетней давности: левая или правая. Кира говорит, что у женщин в её семье всегда правая. Лия, видимо, выбрала левую в знак подросткового бунта (в семь лет; жаль, в семнадцать уже не будет поводов).

— Потому что тебе от этого грустнее.

Пауза. Шрёдингер Младший перевёл взгляд с того, что за мной, на саму Лию. Одобрительно. (Кот. Семь лет. Он меня младше. И, тем не менее, именно он здесь сейчас главный наблюдатель в комнате: из всех присутствующих кот единственный знает, куда посмотреть; мы — нет. У котиков профдеформация обратная моей — им нечего терять, и они поэтому *всё время на пороге*. Котов нужно изучать. Я серьёзно. В Академии есть отдельный курс про кошачью перцепцию, но я на него пока не записался, потому что считаю, что это бы испортило мои личные отношения со Шрёдингером Младшим.)

— А мне можно тебе рассказывать? — спросил я.

Она кивнула. Один раз. На полмиллиметра.

Семьсот лет. Четыре поколения. И один кивок семилетки, который значит больше всех моих разговоров с Вэй Лином за восемь лет.

Я не могу объяснить, что именно в этом кивке случилось. Возможно, ничего не случилось. Возможно, случилось всё. Возможно, в моменте, когда моя семилетняя дочь разрешила мне говорить ей о вещах, которые я двадцать восемь лет прятал, — у меня в груди на полмиллиметра сдвинулась та самая часть маминой подписи, которая двадцать восемь лет была приварена. Теперь она не приварена. Она — привязана. Это разные конструкции. Приваренное держит за счёт собственной массы. Привязанное — за счёт *того, кто держит другой конец верёвки*.

Другой конец верёвки теперь в пижаме с ракетами. Ест сырники через полчаса. Чистит зубы в девять. Спит в десять. Завтра в садик.

(В блокноте — я потом прочитал, без спроса; простите меня, редактор этикета, но я отец — в блокноте была одна запись после нашей сцены: «*Папа сказал можно. Теперь — можно.*»)

Один иероглиф смысла. Детский почерк. Ответ на вопрос, который я восемь лет не умел задать.)

* * *

Кира вышла из кухни через полторы минуты, с полотенцем на плече. Она как раз ставила на плиту что-то, что пахло луком и помидорами, *во всяком случае на первом этаже* — на четвёртом пахло совсем не тем, но это наш семейный бонус: кухонные запахи в нашей квартире иногда приходят с опозданием и иногда — из соседней кухни (я подозреваю, что соседка за стеной, Валерия Ильинична, тоже чуть пробудилась году эдак в 2029-м, но мы с ней не обсуждали; у нас с ней отношения строго по поводу полива её огурцов в моё отсутствие).

Кира посмотрела на меня. Увидела в моей физиономии что-то, чего в ней обычно нет. Молча.

Это умение Киры — видеть в моей физиономии то, чего в ней обычно нет, — одно из тех умений, которые я в ней люблю больше всего, и по поводу которых у меня одновременно лёгкий комплекс (потому что в её физиономии я умею видеть максимум четыре состояния: голодная, сытая, сердитая, спокойная — всё). Эту асимметрию я компенсирую, как мужчина, готовкой: Кира готовит дважды в неделю, я — остальные пять раз, и это избавляет нас обоих от феминистских дискуссий, на которые у меня нет ни сил, ни словарного запаса после двух тысяч двадцать шестого года.

— Бабушка? — спросила Кира.

— Четыре часа подряд, — сказал я. — Не отпускает.

Кира кивнула. Посмотрела на Лию. Лия посмотрела на Киру. У них в этой секундной переглядке было заложено гораздо больше информации, чем во всём моём мостовом рабочем дне. Кира Лие: *ты чувствуешь?* Лия Кире: *да, я уже напе сказала*. Кира Лие: *хорошо*. Это была вся семейная конференция, без звука, за две целых четыре десятых секунды (я засёк потом по внутренним часам; профдеформация).

— Сырники через десять минут, — сказала Кира уже вслух, для меня. — Переодевайся.

Я встал. Пошёл переодеваться.

(В коридоре, по дороге, я вспомнил одну вещь, которую Вэй Лин сказал мне девять месяцев назад. Дословно: «Мостовой — это не тот, кто носит сообщения. Мостовой — это тот, через которого сообщения *проходят*». Тогда я это запомнил как афоризм и ничего не сделал. Сегодня — понял, что моя дочь начинает быть *другим мостовым*. Тоже двуместным. Только у меня концы моста — Академия и институт. А у неё — я и бабушка. И если первая конструкция держится на моей биографии, то вторая — на семь лет ребёнке. Это, извините, архитектурный кошмар.

Хотя, если подумать, — самые устойчивые мосты в истории стояли ровно на том, что через них кто-то ходил. Архитектор тут — условие необходимое, но не

достаточное. Камень, по которому никто не ходит, быстро зарастает лишайником и рушится. Камень, по которому ходят, — стирается и стоит дальше.

Моя дочь уже ходит. Значит, конструкция — рабочая. Значит, моя задача — не мешать.

Это простая задача. И самая сложная из всех, что у меня были за тридцать пять лет.)

Я достал из шкафа свитер. Надел. Пошёл есть сырники.

В спине — жёлтая ниточка. Я её теперь, задним числом, различал. Тонкая. Лежит в теле. Просто *есть*.

Мама звонила. Я был на связи.

Впервые за семь лет — *на связи*.

Лия сидела на своём стуле со спинкой-зайцем. Смотрела в тарелку. В углу её блокнот — закрытый, шариковая ручка сверху, аккуратно.

(Потом я прочитаю — и простите меня, редактор этикета, но я отец.

В дневнике она дописала ещё одну строчку к сегодняшнему дню:

«Папа сегодня не один.»>

Три слова. Она впервые за семь лет увидела меня *со связью*. До этого, судя по всему, видела без. Это тоже для меня информация. Значит, все эти годы она считала меня *одиноким человеком, к которому звонит чужая бабушка*. Теперь — считает меня *сыном*. Для неё это — изменение в справочнике: папа перешёл из категории «один» в категорию «со связью». Для меня — примерно то же, что перевод с «умер» на «жив», только задним числом и без прописки.)